

# НЕУМИРАЮЩИЙ



ИГОРЬ БЕЛОДЕД

Родился в 1989 году в закрытом городе Томск-7. Окончил МГИМО. Выпускник Литературного института имени А.М. Горького (семинар Олега Павлова). Дебютировал в журнале «Новый мир». В 2018–2019 годах дважды входил в короткий список премии «Лицей».

Огромный вал ненависти вывел его из небытия, и с тех пор он пребывает вовеки, война отгремела восемьдесят лет назад, а он, движимый всей той мерзостью, которая есть в нас, перехоронивший всех своих детей, терзающий заживо внуков, горит черным злом, ухмыляется в зеркало, до которого ему без посторонней помощи уже не дотянуться, и перерабатывает душевную гнусность в свою жизнь. Хоть бы хны. Его ничто не берет: ни время, ни лишения. Когда он ослеп, Ната попробовала кормить его всякой дрянью, стала навещать к нему реже, мысль о том, чтобы заморить его голодом, крутилась в ее голове огненной лисой, но однажды он со злобы вылил приготовленный ею рассольник ей на ноги, колени ошпаренные краснели в ванном зеркале две недели, кожа отходила тонкими белесыми слоями трижды. И тогда она решила подсыпать ему яду: неважно какого... подсыпать вместо лекарства... и пока она убивала своего прадедушку в мыслях, он прозрел.

– На-а-а-атка! Поди сюда! – сотрясался мир от его слов.

И ей было оскорбительно от того, что он звал ее Наткой, и сразу вспомнилась мать, чье имя он коверкал от обилия внуков, мать, что, умирая, передала ей заботу о нем по наследству, как иные передают долги и болезни.

– На-а-а-атка! Почему полы грязные, все в разводах? Был бы я на сорок лет младше, я бы тебя, курву, научил мытью полов!

И он стал стучать огромным костылем по стене. Штукатурка шелушилась с потолка, а он моргал бессмысленными красными глазами, поворачивая лысую голову из стороны в сторону. Ната отступила на шаг и замерла, подумав: неужели она его убила в мыслях и теперь у него начались предсмертные судороги?

– Ты чего, дура, стоишь? Вызывай скорую, чтобы чудо засвидетельствовать!

И она повиновалась не его словам, не его голосу, а огромной воле, что плескалась в нем, в его непомерном теле – с виду сухом, но на деле – собранно-мускулистом.

Прибывший фельдшер-усач долго светил в зрачки Валериану Викторовичу фонарем размером с мелок и робко улыбался, будто извиняясь за неумелость всей своей врачебной науки.

– Сошла? Ну? Сошла короста с глаз? Прозрел я? – гудел тот.

Фельдшер кивал головой, словно шарнирный игрушечный пес, поставленный над рулем.

– Наверное, катаракта сошла с глаз.

– Это у вас катаракта на глазах. У всех. А я буду жить вечно, я вас всех переживу! – кричал тот и молотил костылем по стенам.

Фельдшер ехидно-успокоительно улыбался, Ната была рада что-нибудь сказать, да боялась, что ее увещевания потонут в брани прадеда, а соседи, сжитые им со свету, опозоренные, опасались отвечать ему даже стенным пристуком.

Ната помнила, как прадед несколько лет назад метался из одних присутственных мест в другие, порождая хаос и гнев, порождая бумажный кавардак, множа обращения, как сумасшедший, но при попустительстве тогдашнего градоначальника – не плоти от плоти его, даже не гипсового слепка, все сходило ему с рук, и он, огромный, колясочный, добился выселения какого-то пропойцы из подъезда, а затем подчинил своей воле весь дом, потому что он ходил с помощью матери Наты по инстанциям, тряс золотой звездой, швырял ее в небо, говорил: «Господь? Так жри звезды! Ты же ими питаешься!» И огромная государственная махина, поощрявшая героев войны, тем более той войны, где не было людских слабостей, а люди были драконового семени, шла у него на поводу, иначе бы как это выглядело со стороны? Соседи пытаются свести в могилу ветерана, а государство безмолвствует, пусть ветеран этот и немного буйный? При явлении начальства у него хватало не столько смирения, сколько презрения становиться тихим, потому что он искренне считал, что те, высшие, не стоят ногтей его, состригаемых Натой по воскресеньям.

Фельдшер с жалостью взглянул на Нату, помялся и вышел, захватив с собой сундук уже бесполезных принадлежностей. Нату захлестнула скорбь по мужским рукам, тоска поползнем бегала по ее телу: сверху вниз, снизу вверх. Да и будь у нее кто-нибудь, кроме безродного кастрированного кота, не попытался бы дед избавиться от него какой-нибудь выходкой, обвинить ее мужа в надуманном неблагодеянии, как добился он уничтожения детской площадки во дворе, потому что детские крики блуждали в его голове, как рыбы, из которых нельзя было сварить уху, крики, которые он ненавидел, и он, выпрыгивая из своей коляски, хватаясь за вытянутый набалдашник трости, сделанной под заказ, кричал в телевизионную камеру, как себе в душу: «Они нацисты, нацисты! Они не понимают, ради чего я воевал! Они играют в нацистов! Вы что хотите, чтобы я умер под возгласы нацистов? Не убила война, так убьют благодарные потомки?» И общество в лице прошлого градоначальника решило: жизнь ветерана сохранить, а площадку снести, завалив покрывками, в которых первое время росли чахлые бархатцы, а на второй год из них вырезали затейливых лебедей с изяшно-хищными клювами.

– Н-а-а-а-атка! Звони Петрову! Скажи ему, что я прозрел!

Петров – так звали его куратора, которого ему представил в прошлом году сам губернатор после торжественного открытия мраморной таблицы на школе, где прадед учился – учился ли вообще? – или он украл и эти воспоминания, как теперь украл жизнь Наты? – тогда он намеренно наехал колясочным колесом на туфлю губернатору, но улыбка того только шире расцвела – он весь состоял из улыбок, – и, откашливаясь, уходя прочь от него, вытолкал вперед себя полковника запаса, который знал все о фронтах войны и сколько тридцать четверок было выпущено, все знал, кроме ощущения горящего танка, когда ты пытаешься выбраться через нижний люк, а он не поддается, и ты мечешься, как слепой, по узким внутренностям танка со сбитыми гусеницами – и еще секунда, еще вечность – и теперь вы не просто сгорите, а будете гореть до тех пор, пока через восемьдесят лет до вас не дойдет предназначавшийся вам снаряд далекой гаубицы – и польхнет боекомплект – и все затихнет, и березовые корни по прошествии года примут вас ближе к себе, и вы станете белеющими скелетами, пока вас не найдет поисковый отряд, который возглавляет чужая правнучка со странным именем Ната. Не найдет и не предаст земле.

– Ну что он сказал? Что? – спросил прадед, мерцая красными глазами, зарей заливающими весь мир.

– Что нужно подумать! – ответила обессиленно Ната.

И дедушка стал браниться, как не в себя, припоминая военкоматовское прошлое Петрова, и эту власть, которую он переживет, и сотни миллионов людей, которые умерли за время его бытования – да что там сотни! – и миллиарды куриц, которым свернули шею и хрящики которых он обсасывал на обед, и детей, которых он отнял от себя, а потом принял, что испытывал сам Господь Бог, принимая внутрь себя сына-шалопая, и что бог может знать о жизни, не умирая каждое мгновение? Сделал одолжение, дворянчик херов, откинул лыжи однажды, а кто-то умирает по десять тысяч раз, на войне умираешь по десять тысяч раз, да что вы знаете, вы, развалившие страну-вечность, которую он носил внутри себя, словно яйцо, заключавшее в себе желток, боясь расплескать?

Ната мыла кастрюлю со смесью ужаса от его криков, радости от прозрения и надежды на то, что урок памяти все-таки состоится в этом году, и ему снова надарят столько цветов, сколько ей не дарили за всю жизнь, и он скажет ей: «На! Любил я твою

мать. Единственную любил». И она вспомнит, как та уходила – вместе с пеной, сходящей с руки, вместе с пригарышами и мелко порезанными кусками лука на зарешеченное дно слива, из которого пахло захлабленностью и из которого нет дороги назад, как бы кто кого ни любил.

Еще до ухода Наты позвонил Петров и сказал, что согласовал урок памяти в этом году в преддверии вручения ключей от нового дома ее деду, «только не говорите ему ничего», – своим прокуренным голосом он брал по низам так, словно делал Нате предложение. И конечно же, ему нужно ехать на сборы – голос загремел – и потому тысяча извинений, но он не сможет сопровождать героя войны – именно так и сказал, хотя речь шла о ее прадеде, который ненавидел эту жизнь до колки и потому собирался жить вечно, так что ей одной придется слушать то, как роды войск, в которых прадед нес службу, меняются с невероятной чехардой, как «мессершмитты» отвратительно погуживают, а «юнкеры» бухают, но что это не имеет никакого значения, потому что его сослуживец, которого звали Иванов-Петров-Сидоров, которого у него не было, который умер, но попал в плен, а потом воскрес, который, словом, был им самим, сказал перед решающим боем за местность, в которой спустя двадцать лет откроют памятник безымянному солдату, что родина их не забудет. «Что же, Родина нас не забыла, но помним ли мы сами Родину», – заключал дед, и скучающие лица учеников раздражались осмысленностью конца, который означало это предложение – единственное из рассказов о войне, что оставалось неизменным в речах прадеда.

– На-а-атка! Поди-ка сюда!

Ната послушно пришла к нему в комнату, встала перед ним как на духу, не загораживая экран, замерший тьмой, и доложила, что на следующей неделе они пойдут на урок памяти.

– Вот видишь, я говорил, что они все меня боятся, боятся, что я встану со своей коляски! Ну-ка! – сказал он и поманил властным движением к себе Нату. – Помоги подняться!

– Дедушка!

– Фриц тебе дедушка! Давай!

И, придерживая его за рукав истершегося пиджака, она безмолвно стояла рядом с ним и видела, как он, малахольно расправляясь, встает с коляски и, опираясь на дрожащую трость с вытянутым набалдашником, делает несколько шагов. «Господи! – думает она. – Неужели все из-за того, что она хотела его отравить? Глазам нет веры, а чему вообще есть вера, если немощные встанут со своих постелей и сминают простыни свои, не славя бога?»

– Ну, хорошо?

У Наты не нашлось слов подтверждения, тем более изумления. Как он мог прозреть в один день и подняться со своей коляски, пусть ноги его дрожали, пусть тапки соскочили с его ног, словно ожившие кролики, может быть, все немочи его – это издевка над нею и над целым миром? Что она вообще о нем знает: кого он любил? как ему удалось выбраться из того горящего танка, менявшего прозвания и номера, менявшего окрас по-змеиному, и время года сменялось другим, и человек менялся до неузнаваемости – даже имя его покрывалось мраком, кроме однообразной и могучей ненависти, что собирала его душу из костей?

– Да, – сказал, садясь в коляску, дед, – в этом году я их научу жить, мелких прощелыг, подонков уличных. Ну что ты, Наточка, ну что? Возьми там, на холодильнике, за хлебницей.

И нехотя Ната поцеловала его в щеку, и сказала механическое спасибо, и пошла к тем деньгам, которые каждые две недели он оставлял ей – то ли от любви, то ли от стыда за невыносимое свое обращение с нею, – больше он никому из родовой не помогал, наоборот! – надиктовывал ей письма, которые она писала как можно более неразборчивым почерком, чтобы только они, раскиданные от Челябинска до Сахалина, не знали, что это она пишет письма за него, где он клялся подать на них в суд, пойти в самые высокие инстанции, оставить ни с чем, смешать с грязью, – и когда он терял всякую связь с действительностью, она старалась выбирать выражения помягче, здесь на руку ей была библиотечная ее предупредительность, она маялась словом, точно нянька с ребенком, не вынашивала его, но выкармливала. И дед, выслушивая письма, которые она записывала, хвалил ее исправно, хотя помнил, что говорил он в других выражениях, но все равно приговаривал: «Ты наполнять должна библиотеки, а не дурью маяться в них».

Весеннее солнце срывало с нее пальто, держась за хлястики его, словно детвора за фаркоп проходившего мимо грузовика. И ей хотелось скинуть с себя одежду и поцеловать первого попавшегося мужчину – вот так – в наглой наготе чувственности, пусть знают, какая она на деле, но мужчины ей первое время не попадались: все женщины с иполинскими баулами или колясками или школьницы с рюкзаками наперевес, но вот она увидела старшеклассника в распахнутой парке, его крепкий чуб застыл по ветру так, словно рос из земли – рывком не выдрать, – и ей стало стыдно от своего желания, и этот чувственный стыд схлестнулся с рассудочным стыдом от мыслей об отравлении деда.

Ей захотелось сейчас повернуть обратно, взять его за руку, взглянуть ему доверчиво глаза и сказать ему, что она верит всем его рассказам и что ненависть его – это ненависть всего поколения, стекшая в него из могил его однополчан и одноармейцев; и что она принимает его таким, какой он есть, что она ему безмерно благодарна и любит его так, как может любить правнучка старика, который даровал жизнь ее предкам, ибо без любви род не множится, а чахнет на корню, и он скажет: «Как же! Как зачахли все мои дети-подонки? Вычерпали ложками мою кровь!» Ната усмехнулась и решила не идти назад. И в то же мгновение ей снова позвонил Петров.

– Наталья Николаевна, вот ведь какой вопрос: у меня на столе лежит запись с обращением вашего прадеда к министру обороны, и я подумал, не вы ли, часом, ему помогли? Не вы? Ничего не знаете об обращении? Положим. А как у вашего деда с пищеварением? Может быть, он не переносит какие-нибудь вещества? Лук латук, допустим? Нет, я потому спрашиваю, что китайцы говорят, будто злоба душевная происходит от расстройств пищеварения...

Разговор тянулся, словно кто-то выудил из души Наты запретную мысль и решил растянуть ее по ветвям деревьев, как пурпурную кассетную пленку – и теперь она развеивается по ветру, неужели его записали в прошлый раз телевизионщики? – думай, Ната, думай, – но как она ни вдумывалась, ни припоминала, перед ее глазами возвышался образ прадеда, посмеивающегося смеховыми очередями, и он становился от своей ненависти все больше, и вот он уже не помещался у себя в квартире, вот его нога пробивала средокония четвертого этажа, а пальцы тянулись к лежащей в ванне соседке с третьего этажа: она верещала, как будто дед хотел ее пожрать, а не напугать: «Фефела! Посконница ты крикливая!» – приговаривал дед и шурился на ее белое дебелое тело, на ее воспаленно-красные сосцы, которые она и не думала прикрывать.

Накануне урока памяти Ната спросила прадеда об обращении к министру обороны. Тот пожал плечами, думая о чем-то своем или не расслышав ее? – он пестовал в себе память, но память не поддавалась ему, вот он помнил, как затягивал подпругу гнедой лошади, которая звалась Чумкой, вот еще раньше мама дала ему лиловое свясло – он никогда не видел прежде такого цвета, – чтобы он перевязал им снопы, вот красный угол, в котором вместо икон стояли образы людей, вырезанные с журнальных страниц, он-то думал, что это снимки его отцов –

и почему ему представлялось, что их должно быть много? – и творожистый запах мокрой земли, которую он загреб в руки и поднес к лицу – потом этот запах появился лет пятнадцать спустя, когда он полз по ней при отступлении – отступлении? – не было такого! Это скорее современники – его недокровь, недосперма его – отступали, но не он, никто из однополчан не мог отступить, это так же верно, как то, что он жив сейчас, а Ната – правнучка его, и дошлый рассвет случится завтра на этой земле, а для мертвецов – его детей – не случится! Жить вопреки всему, жить во имя того, чтобы свернуть шею этой малахольной ненастоящей жизни, которая подкидывает ему карачуна, которая подбрасывает ему явления одного порядка, будь то запах земли при бегстве фрицев, будь то совершенная похоть Наты на отмершую лет сорок назад прабабку.

Ната наряжала его все утро, грудь прадеда сияла от орденов и дыбилась, солнцезащитные очки скрывали ему лицо целиком, подставляя под чужие глаза изборожденный лоб-океан и тонкие, извивисто-капризные и малокровные губы. Минут пять он стоял перед зеркалом в своей коляске и примеривал кепь, ему не нравилась, как она сидит – чертова кепь – и пусть он похож на мумию, это они умрут первым, а потом, когда всех их пожрет смерть, он станет судить правых и виноватых, но больше – виноватых, потому что с правыми пусть разбирается бог.

– Ты у меня красавец, – сказала Ната.

– Ну да, а вот ты рожей не вышла, раз тебя никто замуж не берет. Спускай меня, Натка, – огрызнулся он, и обида слепнем ужалила ее душу, почему, ну почему он всегда такой иглистый, как еж, ему слова ни поперек, ни вдоль сказать нельзя, он так и норовит ее оскорбить, а потом что? – он начнет попрекать ее отсутствием детей, а потом, что они вышли незадачливые? а потом, что и у них нет детей? А потом на ее похоронах он скажет им, какой она была отвратительной правнучкой, скинет гроб вниз, подрезав ремни, и плюнет ей вслед так же, как, по рассказам матери, он плюнул вслед своей жене, которая умерла вместе с четвертым их ребенком? – и что это означало? что она предала его любовь или просто что она не выдержала, слабачка, его противоестественной силы жизни?

В школе их отвели в актовъй зал, посередине которого установили коляску прадеда, двое школьников – пухлая девочка лет двенадцати и мальчишка-сморчок с губами, изрытыми простудой, – произнесли приветственное слово и вручили ему кипу гвоздик, которые он ненавидел, потому что они на-

поминали ему цвета фашистского знамени, они бы еще сложили их свастикой! – и он ушипнул за бедро сходящую со сцены девочку так сильно, что она вскрикнула, а прадед, чтобы скрыть произошедшее, стал говорить о том, что вся их история – брехня, что времени не существует, поэтому ничто не повторится, и он точно не воевал за таких придурков, как они, – смешок волнения прошел в среде школьников, – учителя стали шикать на волнующихся детей вместо того, чтобы урезонить говорившего.

– Слышите! Время в вас самих, а вовне нет никакого времени, поняли! Кукиш вам! Это значит, если внутри себя вы убьете время, то вы станете вечными! Слышите?

Но на этих словах Ната уже увозила его прочь к ниспавшему занавесу. Случилась свалка. Солнце светило в две сотни школьнических лиц, а учитель истории рухнула на пол – как подстреленный вальдшнеп – грузно и неестественно. И кто-то на голову ей вылил воды из вазы, в которой прежде стояли гвоздики.

– Моло-моло-дед, дед! – кричал кто-то, и звонок требовал их слух, не доискиваясь до души, как слова старика, которого они почитали за сумасшедшего.

Где-то промелькнуло лицо Петрова, оказавшееся лицом заместителя директора, который стоял рядом с Натой и выговаривал ей:

– Что же вы распустили деда и не смиряете его творческие порывы по поводу истории нашей родины?

Она отмалчивалась и слышала затылком, как дед выкрикивал продолжения своих мыслей, и ей стало стыдно, что они его видят таким, каким раньше он был только с ней.

– Вам, я слышал, сегодня ключи от нового дома вручат, а вы устраиваете скандал!

Из глаз Наты полились слезы.

– Ну что вы, все мы будем в таком возрасте плохи. Извините меня. – И он попытался обнять ее, но тут же отскочил от Наты, глядя на нее квадратными глазами, так что та не успела ничего подумать, а когда повернулась к окну, увидела, как прадед с поднятой тростью молча изготовился нанести еще один удар.

– Геройство геройством, но это, знаете ли, свинство!

И он отскочил от Наты, прикрывая бордовый затылок скрюченной рукой, и, громко охая, пригнулся на паркет рядом с учителем истории, а разошедшиеся школьники вдруг подняли коляску вместе с дедом и, горлая, неистовствуя, обращаясь

в единое многорукое тело, понесли его из актового зала прочь – за ними увязалась Ната, и недоуменно смотрела на то, как по мере приближения к выходу школьные тела сперва выросли, а затем, миновав зарешеченное окно раздевалки, стали стареть, пока наконец не обратились в груды грязи и костей и потоком не вынесли радостного прадеда, который был им вместо бога, вовне школы, – и тогда, напоенный их жизнями, он гордо вскочил со своей коляски и обтряс ее от крепившихся к ней громких и дряхлых фаланг.

Все растворилось в звенящих солнечных нитях, и они шли по улице вдвоем с прадедом, который вез рядом свою коляску, и посмеивался тому, что он устроил в школе, и предвкушал, что, хорошо отобедав на приеме у губернатора, он устроит кунштук похлеще школьного, и губернаторы, как кости домино, станут падать друг за другом, и мир восплачет, как танк, который его не убил, танк, которого, быть может, не было, и он был вовсе не танкистом, а кем он был, он уже не помнил, потому что забвение поглотило его целиком, – и, возможно, вернувшись в коляску, он уже не понимал, что везет его чужая внучка, везет полутруп, который хотел жить вечно не потому, что верил в бога – это все вздор, – а без всяких потому что, так как обусловленное желание – это желание лишь наполовину; а он готов был ради жизни свернуть шею своим оставшимся в живых детям, как это и было однажды, но детей у него не осталось... и внучка Ната улыбалась улыбкой-острием и думала вслед восторженным мыслям прадеда, что лучше уж лекарственная одурь в последние часы этой жизни, чем эта его ненависть, которую он изливал направо и налево. Теперь все кончится – и так будет лучше для всех, и в первую очередь для него самого, потому что она его почти перестала любить, а жизнь без любви бесполезна.

